
КОНСТАНТИН ПРОЙМИН

НАС БЫЛО ТРОЕ

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ

Бессмертный любительский вариант “Синего платочка”, неизвестно кем сочиненный:

*Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.*

До конца жизни буду помнить и эту песню, и этот день, двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года.

Стояло короткое, но жаркое сибирское лето. День был воскресный, погода радовала: после затяжных и весенних дождей в небе появилось наконец солнышко. Все цвело, все зеленело; деревья огрузли густой и сочной листвой, на лужайках и во дворах шелковисто заиграла под ветерком молодая маляхитовая травка.

В нашей старой Купавинской школе только что закончились экзамены, наступили долгожданные каникулы. И мы, ученики-старшеклассники, буйно радуясь вожделенной свободе, долгим безмятежным дням, трепетно ждали каких-то новых негаданных радостей, которыми непременно одарит нас только что начавшееся лето.

Впрочем, у меня было и одно неотложное дельце. Едва получив свидетельство об окончании восьмого класса, я тут же накатал заявление в Симферопольское художественное училище: после седьмого класса не решился. Приложил нужные документы, рисунки, парочку акварелек, сунул все это в пакет...

Да, учиться на художника (говорили, у меня талант) я решил в Крыму. Далековато, конечно, но уж так хотелось пожить хоть немножко в тепле, побывать в Севастополе, в Феодосии, где, как я знал, находится картинная галерея Айвазовского... Родители не препятствовали моей затее.

И вот двадцать второго июня, ровно в полдень я заклеил пакет и пошагал на почту. По пути заглянул в РДК, как сокращенно называлось у нас это деревянное, с прогнившими полами здание районного Дома культуры: вдруг да встречу там кого-нибудь из дружков.

ПРОЙМИН Константин Данилович (03.1924—12.2007) — ветеран Великой Отечественной войны. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг прозы

Мне повезло: в мрачноватом, с низким, провисшим и потрескавшимся потолком фойе стояли возле давно не мытого окна и курили два моих задушевных друга, два Леонида – Максимов и Кислов. Первый был моим одноклассником, второй же, бросив год назад школу, подрабатывал теперь на какой-то должности здесь, в РДК.

Я подошел к ним, поздоровался и за компанию закурил.

Так мы стояли, покуривая и болтая о разных пустяках, когда в фойе влетел еще один наш приятель, Сашка Коромыслов:

– Ребята, война!

Округленные глаза сверкают, смуглые щеки горят от радостного возбуждения.

– Что еще за война? – скептически повернулся к нему Леня Кислов, самый спокойный и выдержанный из нас.

– Германия напала на Советский Союз!

Мы переглянулись. Верить Сашке можно было далеко не всегда. Восторженный и взвинченный, ничего, кроме книг про войну, не читавший, он денно и ночью бредил кровопролитными боями, изумляющими мир подвигами. Он прямо физически страдал от того, что так поздно родился, что все войны давно прошли, и он никогда уже не сшибется с врагом, как Павка Корчагин, как Боря Голиков из “Школы” Гайдара, как десятки, сотни других героев Гражданской войны.

Нет, верить Сашке на слово мог лишь тот, кто мало его знал. Мы же знали его как облупленного. В беспрестанном чаянии войны, героизма он мог самый сущий пустяк, паршивенький конфликт какой-нибудь, который утром возник, а к вечеру уже и сгас, принять за войну.

Что же касается Германии, то у нас с ней мирный договор. И если два года назад в газетах иногда поругивали и Гитлера и фашистов, то сейчас ничего худого про них не говорят. Наоборот, из библиотек изыали книги, где хоть чуточку задеваются порядки, установленные национал-социалистами. Так, год назад я стал обладателем книжки “Гулливвер у арийцев”, обреченной на сожжение, но тайно подаренной мне знакомой библиотекаршей.

Мы молчали. Заметив на наших лицах недоверие, Сашка размашисто перекрестил свою широкую комсомольскую грудь:

– Вот истинный Бог, война! Все бегут к райкому партии, там будет митинг. Пошли?

Я посмотрел на Леню Кислова.

– Идите, – безучастно качнул он плечом, – а мне некогда. Директор велел синьки бельевой достать: завтра клуб белить будем.

– Идем, – дернул меня за рукав Леня Максимов. И мы вслед за Сашкой Коромысловым побежали к райкому партии.

Когда мы, опережая пожилых мужчин и женщин, примчались на место, митинг уже шел. На невысокой, почерневшей от времени дощатой трибуне стояли четверо: первый секретарь райкома партии – чернявый поджарый мужчина в светло-серой “сталинке”; тучный, седовласый председатель райисполкома; совсем еще молодой военком и строгий, зорко вглядывающийся в лица собравшихся начальник РО НКВД.

Мы стали за людскими спинами и едва ли не первое, что услышали, было:

– Минувшей ночью Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз, перешла нашу государственную границу; ее авиация бомбила Киев, Одессу, Севастополь...

“Севастополь? – сразу же отметил я про себя. – Это ж недалеко от Симферополя. Не-ет, с Симферополем в этом году придется подождать. Война наверняка затянется. Месяца на два, а то и на три. А это – июль, август, сентябрь, начало учебного года...”

Сразу после митинга я побежал домой, вскрыл пакет и переписал заявление. У меня был запасной вариант – Омское художественное училище. Не на случай войны, разумеется, а если родители не отпустят меня в Крым. “Годик проучусь в Омске, – рассуждал я, – а там переведусь в Симферополь”.

Вечером, как это и раньше частенько бывало, мы собрались втроем возле Сашиного дома над Томью, на крутизне.

Дом был старый, Сашкин отец вознамерился его подновить, привез десятка полтора бревен. На этих-то сложенных пирамидкой бревнах мы и усе-

лись сейчас. Закурили. Солнце только что скатилось за горизонт, по всему западному краю неба рдела огненная полоса.

Мы долго молчали. Пускали, отгоняя комаров, самосадочный дым и по-сматривали на запад. Теперь, когда радио (эти черные бумажные тарелки, висевшие во многих избах) разнесло первые, пока ещё скудные сводки о боях, что идут по Бугу, возле Бреста, мы, казалось, слышали, как там, за пылающим горизонтом, оглушительно бухают пушки, стучат, словно палки по частоколу, пулеметы, храбрые командиры ведут в атаку наших бойцов... Леонид, кутаясь в байковую спортивную куртку, угрюмо хмурился, что-то невнятно бормоча и покачивая своей лобастой, коротко стриженной головой. Сашка, в отличие от него, был полон жизни. Он нетерпеливо ерзал по шершавым бревнам, нервно покашливал, не сводя глаз с пламенеющего горизонта. Казалось, сейчас он вскочит, сложит рупором ладони и крикнет невидимым отсюда командирам: “Эй, вы там, потише! Не спешите шибко-то, мы ведь тоже хотим повоевать и отличиться”.

— А что, ребята, если добровольно? — и впрямь вскочил он, хватая нас обоих за руки. — Напишем заявления, так, мол, и так... Попросимся в одну роту...

Леонид горько ухмыльнулся.

— Тебе сколько лет?

— Мне? — Сашка помедлил, скосив на него недоуменный взгляд. — Семнадцать... А ты помнишь, сколько лет было Гайдару, когда он командовал полком?!

— И Косте семнадцать, — не слушая его, кивнул в мою сторону Леонид. — Да вас обоих из военкомата — под зад коленкой: не путайтесь под ногами. А мне в октябре восемнадцать...

Сашка на лету схватил его мысль.

— Ишь, ты, какой хитренький! — сказал он укоризненно. — Хочешь один уйти, а нас с Костей оставить?

— С удовольствием и сам бы остался. На войне ведь убивают...

— Ну! — отмахнулся Сашка. — Убивают, да не всех. Зато подвиг совершить может каждый!

Леонид долго не сводил с него насмешливо-порицающего взгляда.

— Ах, Саша, Саша! — сказал он наконец. — Тебе бы всё подвиги. А война... — это не Боярки с деревянными мечами атаковать.

Да, все прошлогоднее лето мы атаковали эти самые Боярки — западную окраину нашего древнего чалдонского села. Играли в войну. Раззадорило нас на это дело бесподобное ледовое побоище в фильме “Александр Невский”. Посмотрев его и раз и два, мы похватили отцовские топоры и... мигом вытесали длинные деревянные мечи, нацепили, вместо щитов, крышки от кадушек с солеными огурцами и в этих грозных доспехах двинулись походом на Боярки.

Тамошняя пацанва в таком же точно снаряжении встретила нас, обитатель Фолинского края.

Сеча началась.

Началась она где-то в июле, вскоре после окончания учебного года, и длилась почти до сентября. Мы забросили всё, чем прежде увлекались, — книги, рыбалку, охоту; сеча в открытом поле, окружение, внезапное нападение из засады, яростное преследование разбитого наголову “врага” захватили нас всех, без остатка. Домой мы приходили только на ночь, чтобы, тревожно переспав где-нибудь на чердаке, утречком снова бежать на поле брани.

Взрослые пытались нас угомонить, умащивали добром, безбожно костерили, жаловались учителям. Вдалбливали в наши очумелые головы, что затея эта небезопасна. И не только потому, что можно покалечиться, но и потому, что есть примета: коли дети затеяли потешную войну, значит, жди вскорости войны настоящей.

Но мы ничему этому не верили, смеялись над бестолковыми стариками и старушками.

А смеялись-то, оказывается, зря.

Леня Максимов, “воевавший” вместе с нами и воображавший себя чуть ли не самим Александром Невским, сидел сейчас, точно полоненный ратник. Отчитав не в меру распалившегося Сашку, он снова умолк, свернул себе очередную самокрутку и, прикурив от моей, стал потягивать едкий, вызывающий кашель дымок.

А Сашка, наоборот, был полон самых радужных надежд и ожиданий и понять не мог, отчего это Леня киснет.

Я смотрел на них обоих и внутренне посмеивался, ибо уверен был: пока наступит наш черед призываться в армию, война сто раз уже кончится.

Село в этот первый военный день словно вымерло. Люди примолкли, сидели по домам; детишки, глядя на взрослых, тоже присмирели. Мой отец, воевавший с немцами еще в четырнадцатом году и дважды на той войне раненный, рассуждал за ужином, стараясь не смотреть ни на меня, ни на мать: “Кайзеровские солдаты, они навряде нас, русских. Им тоже не сладко было на той войне, брататься с нами зачали...”

– Ты лучше скажи, долго эта война будет, аль нет? – перебила его мать.

Отец помедлил, вытер ладонью свои седые усы: “Кто ж ее знает? Вроде не должна бы, незачем ей долгой-то быть. Начальство не допустит, ни ихнее, ни наше”.

Отец мой был малограмотен, газет не читал. Впрочем, грамотные и начитанные тоже рассуждали тогда не намного умнее.

...Мы засиделись на бревнах далеко за полночь. Закат давно остыл, померк, по небу кучно, точно пшено по голубой клеенке, рассыпались звезды. Появилась ущербная луна; ее мутноватый, словно бы сквозь марлю процеженный свет лег на почерневшие крыши изб и амбаров, на темные кроны деревьев, проложил тусклую, мерцающую дорожку через Томь. Говорили мы мало, больше молчали, думая каждый о своем. И всё курили, курили. Кажется, впервые за годы нашей дружбы мы почувствовали, что, взрослея, становимся разными, не похожими один на другого. И не шибко радовались этому.

Прощались без былой теплоты. Молча пожали друг другу руки и, не оглядываясь, пошагали каждый в свою сторону.

Время с этого дня круто изменилось. Последним отголоском прежних, еще мирных дней было письмо из Омска. На официальном бланке дирекция художественного училища спокойно, будто ничего в мире не произошло, сообщила, что я допущен к экзаменам по специальности (от общих экзаменов как отличник я освобождался) и должен ждать вызова. Милые, добрые омичи!.. Не прошло и месяца, как они вернули мне и документы и работы. В скромной сопроводительной говорилось: “В связи с тем, что здание училища передано под эвакогоспиталь, занятий в этом учебном году в училище не будет”.

Что оставалось делать? Дождаться сентября и пойти в девятый класс?

Именно так я и поступил.

Однако до сентября еще надо было дожить.

О, это первое военное лето! В самом начале июля, словно отчаянный вопль беды, грянула песня “Вставай, страна огромная!” Ее трагедийный мотив, ее убийственные слова “орда”, “смертный бой”, “сила темная” вселяли не надежду, а страх. По крайней мере, в мое, еще не окрепшее сердце. Песня как бы внушала: на страну напала несметная сила, подобная татаро-монгольской орде, и спасения от нее нет и быть не может.

А в районе тем временем шла повальная мобилизация запасников и резервистов.

Призывной пункт разместился в районном Доме культуры. В кабинете директора, угловой квадратной комнатке с окнами на пыльную площадь, заседала медкомиссия; в большом, мрачном и неудобном зрительном зале сидели на скамьях, лежали на полу мобилизованные, ждали своей очереди к врачам; на площади перед Домом культуры в одночасье возникла длинная коновязь, возле нее с утра до вечера нудились, свесив головы, тощие разномастные лошаденки, доставившие сюда из ближайших сел и деревень колхозников, таежных лесорубов, сельских служащих и учителей. Нас, небольшую группу старшеклассников, призвали в культурмейцы. Приставили к нам хурука, полуслепое баяниста Дома культуры Васю Барского, и велели развлекать этих хмурых мужиков и парней, которым завтра ехать на запад, навстречу всё разгоравшейся войне.

Мы читали им стихи, пели песни, разыгрывали небольшие сценки.

Мобилизованные, расположившись перед авансценой, глядели на нас хмуро, улыбались редко. Даже там, где мы звонко смеялись.

Впрочем, однажды, когда Вася заиграл было вальс “На сопках Маньчжурии”, на середину зала вышел здоровенный мужчина в латаном пиджаке, зимней бесформенной шапке и тяжелых, словно из камня высеченных кирзачах.

Кратким возгласом “Стоп!” он остановил баяниста и велел сыграть “барыню”. Вася тут же сменил мотив и с ходу резанул любимую народом плясовую. Мужик поправил на голове шапку и, вскрикнув: “Эх!”, топнул ногой так, что дрогнули не только пол, но и стены. Раскинул руки и, отбивая ногами дробь, пошел, пошел по кругу, мигом освобождавшемуся от лежавших и сидевших на полу мужиков. Ах, как он плясал, этот грузный, неповоротливый с виду великан! Казалось, в эти минуты он забыл обо всем — о том, что идет война, что завтра ему ехать на фронт, откуда он, возможно, не вернется... А может, как раз помнил обо всем этом и спешил напоследок излить душу в этой отчаянной пляске.

Первое военное лето...

После того как схлынула начальная, самая крутая волна мобилизации, начисто смывшая почти все трудоспособное мужское население района, нас, ребят допризывного возраста, мобилизовали на полевые работы. Мы с Леонидом и Сашкой очутились на хлебном току колхоза имени Коминтерна. Молотилка, триер, веялка, еще кое-какие немудрящие механизмы; пара замороженных, выбракованных лошадей да пяток школяров во главе с одноногим бригадиром. Вот и вся рабочая сила и техника.

Нас с Сашей приставили к триеру. Работа, в общем, не хитрая: крути знай железную рукоятку. Но кровавые пузыри на ладонях мы набили себе в первый же день. Белоручка Александр ухитрился вскорости пузыри эти раздавить, отчего боль в ладонях сделалась абсолютно нестерпимой.

— Пропади он пропадом, этот триер! — выругался Сашка. И, плюнув с досады, отошел в сторону. — Люди на фронте сражаются, ордена-медали зарабатывают, а мы тут даром надрываемся. Не хочу я больше руки калечить, они мне для другого, более важного дела нужны.

— Для какого? — поинтересовался Леонид, отгребавший от конной молотилки солому.

— Винтовку держать! — зло огрызнулся Сашка. — Иду завтра в военкомат, пусть отправляют на фронт. Откажут, без них дорогу найдем. А зря время тратить, здоровье губить на этом дурацком току не желаю.

Он поднял с земли свой пиджачок, отряхнул его и, не глядя в нашу сторону, пошагал к полевому стану.

Пришлось рукоятку триера крутить мне одному.

Осень в том году нагрянула в Сибирь рано, уже в сентябре стало вдруг по-зимнему холодно, и в одну из студеных непроглядных ночей выпал снег.

Первого числа, по заведенному от века порядку, нас выстроили в школьном дворе на линейку, и директор, седой, впалогрудый историк Антон Кузьмич, поживаясь от холода, сказал, что занятия в этом году начнутся месяцем позже, в октябре. “А сейчас, ребятки, надо продолжить работу в колхозах. Там на полях еще остались суслоны пшеницы, картошка в буртах, не убранные свекла и морковь... Они не должны пропасть”.

Не знаю, ходил ли Сашка в военкомат, но на фронт он не уехал. И вскоре таскал вместе с нами отсыревшие под снегом, тяжелые, переплетенные колючим осотом снопы пшеницы, кидая их в длинные колхозные брички, наполнял мокрой и грязной картошкой мешки, выкапывал из раскисшей земли свеклу, дергал опутанную повиликой морковь.

Вскоре в селе появились эвакуированные.

Это новое для нас словечко привезли с собой десятка полтора ленинградцев, в основном женщин и детей, прибывших налегке, словно в отпуск.

Да, война завязалась, похоже, не шуточная; ждатель скорой победы, во всяком случае, было не с руки...

Впрочем, поздней осенью, когда мы уже сидели за партами, а хлеб в магазинах стали продавать по спискам, газеты и радио разнесли окрыляющий сталинский приказ: разбить фашистов в следующем, 1942 году.

Срок тоже немалый, но он уже не казался чрезмерным. Немцы лезли напропалую, наши пятились, сдавая город за городом. Считалось, однако, что это — временно: вот-вот мы остановим врага и погоним его обратно. И как бы он ни упирался, а трех-четырёх месяцев нам хватит, чтобы как раз в начале сорок второго года разгромить и уничтожить его.

Как-то мы с Сашкой стояли возле нашего Дома культуры. Курили, вороваато озираясь: нет ли где поблизости учителей... И тут заметили на фасаде РДК предоктябрьский лозунг: “Рабочие и колхозники! Ударным трудом в цехах и на полях поможем Красной Армии разгромить фашистов в 1942 году!”

Лицо у Сашки потемнело.
– Ты что? – спросил я у него. – Или не рад?
– А чему тут радоваться-то? – вопросом на вопрос ответил он. – До сорока второго года – рукой подать...
– В этом-то и радость!
– Кому радость, а кому...
Я понял его. В сорок втором нам призываются в армию. Призовешься, а тут война-то как раз и кончится!
– Не горюй, – утешно погладил я его по плечу. – Послужим в мирное время. Это даже лучше.
– Не понимаю тебя, – с укором обернулся ко мне Сашка, – думал, ты патриот, а ты, оказывается... – Он презрительно сплюнул и ушел, не попрощавшись.
Вскоре, однако, разговор наш продолжился. В одной из своих речей Черчилль, ставший к тому времени нашим союзником, ляпнул, будто лишь к 1945 году появятся предпосылки для нашей общей победы над Германией.
– Ну как, доволен? – спросил я у Сашки, тоже слышавшего эту новость по радио.
Сашка улыбнулся.
– Четыре года?
– Да. Навоюешься вдоволь. Все ордена, какие есть, будут твои...
– Мне всех-то не надо, – не меняя улыбки, сказал он. – Парочки хватило бы за глаза.

Занятия в школе хоть и со скрипом, но шли; правда, учителя поменялись: раньше было больше мужчин, теперь стало больше женщин. В основном за счет ленинградок.

Эти ленинградки, надо отдать им должное, очутившись в нашем медвежьем углу, нимало не растерялись, не сдрейфили, наоборот, как-то быстро всё поняли, во всем с ходу разобрались и мужественно смирились. И я, помнится, подумал: вот что значит интеллигентки! Любая беда им нипочем. А ведь многие ожидали совсем не того, с чем тут столкнулись. Молодая учительница начальных классов Раиса Сергеевна, ставшая у нас преподавательницей русского языка и литературы в старших классах, рассказывала:

– Ехали сюда, думали: в мехах ходить будем. Ведь Сибирь – это пушнина. Из окон вагона выглядывали, чтоб увидеть модниц в лисьих или песцовых манто.
– Увидели? – спросил кто-то из ребят, заранее прыснув в ладошку.
– Увидели, – подавляя вздох, сказала Раиса Сергеевна.

И все же ленинградцы не зря были детьми своего великого города. Они привезли с собой главное, чего нам не доставало, – культуру.

Был среди эвакуированных драматический артист Сергей Денисович Копылов. Далеко не именитый, но все же профессионал, он с ходу кинулся искать среди купавинцев артистов-любителей. Такие у нас, конечно, были. Правда, многие ушли на фронт, но кое-кто остался. Из них-то Сергей Денисович и сколотил костяк. Пополнение искал среди учителей, конторских служащих и, конечно, нас, учеников старших классов.

Спектакли ставились большие. Выискивали в районной библиотеке пьесы преимущественно о Гражданской войне (пьес о Великой Отечественной пока еще не было), распределяли роли и репетировали либо в кабинете директора РДК (эту должность исполнял теперь он, Копылов), либо в небольшой комнате за сценой.

Копылов был у нас и режиссером, и суфлером, и, как правило, исполнителем главных ролей. Если же роль эта почему-либо ему не подходила, он перевоплощался в комика. Тут Сергею Денисовичу почти всегда помогала его, прямо сказать, нестандартная внешность: огромный горбатый нос, лошадиные глаза навывкате и почти полное отсутствие подбородка. Играя главные роли, он эти свои изъяны всячески маскировал, выступая же в качестве комика, наоборот, подчеркивал. Так, играя однажды попа, он приклеил к своему подбородку бороденку из десяти волосин и, скаля крупные, тоже лошадиные, зубы, на все лады ее “обыгрывал”: взбивал, пропускал между пальцами, так что зрительный зал покатывался со смеху.

Его жена, седовласая красавица Екатерина Захаровна, сменившая у нас в школе старейшую и уважаемую, но родившуюся в немецком Поволжье немку, оказалась замечательной певицей и выступала в наших самодеятельных

концертах с непривычным для купавинцев классическим репертуаром... Словом, как ни кощунственным это покажется, а, вспоминая те давние времена, невольно думаешь: “Не было счастья, так несчастье помогло”.

А несчастье тем временем ширилось, росло, война продолжалась, и конца ей не предвиделось. Похоронки зачастили почти в каждый дом.

Нас с Сашей на фронт пока не брали, хотя в военкомат мы разок-таки наведались.

– Сидите, ребята, и не рыпайтесь, – сказал нам военный с тремя кубиками на петлицах, – придет время, сами вас вызовем.

Попытка не удалась. А вот Леня, которому недавно исполнилось восемнадцать, ждал мобилизации со дня на день.

Ждал... и вдруг женился.

Как-то на большой перемене он поманил меня к высокому окну в конце коридора, помолчал, любуясь мокрым снегом, лепившим прямо в стекла, и сказал:

– А я, братец ты мой, женюсь.

– Женишься? – растерянно переспросил я. – Зачем?

– Так надо.

Минуты две мы оглушенно молчали; Леонид все так же смотрел в окно, я с недоумением – на него.

– И кто же невеста? – придя немного в себя, спросил я. – Зина?

– Какая Зина?

– Ну та, с которой ты познакомился на прошлой неделе. Говорил, она сущий ангел.

– Ах, Зи-и-ина! Нет, никакой она не ангел, мы разругались с нею на другой же день. Женюсь я на Клаве.

– На Клаве Зарубиной? – спросил я оторопело.

Эту Зарубину знало все село. Работала она официанткой в столовой. И не было в Купавине особы более бесстыжей и распутной, чем она.

– За кого меня принимаешь, – обиделся Леонид. – Клава Зарубина раз пятнадцать уже побывала замужем, сейчас на ней даже Федя Котелок не женится. (Котелком у нас дразнили дурачка нищего, ходившего по домам с закопченным алюминиевым котелком на поясе.) Женюсь я на Клаве Сякиной.

“Час от часу не легче”, – подумал я. Клава Сякина, машинистка из райпотребсоюза, была, ничего не скажешь, красива. Но она была лет на десять старше Леонида, а кроме того, у нее рос сын от первого брака, тихий, неприметный мальчик лет восьми.

– Ты хорошо все обдумал и взвесил? – спросил я осторожно, чтоб не обидеть дружка.

– Абсолютно все!

– Но ведь тебе не сегодня-завтра в армию идти.

– Знаю. Однако жениться я обязан... как честный человек.

Что такое “честный человек” в подобных ситуациях, мы, семнадцатилетние пацаны, уже знали. И я невольно позавидовал моему другу.

Повестку из военкомата ему принесли ровнехонько через неделю после свадьбы...

Теперь я стал ждать от Леонида писем. Уверен был, что он напишет сразу, как только прибудет в часть. Однако шли дни, недели, месяцы, а письма все не было.

События тем временем разворачивались бурно. Немец ломил по-прежнему, наши в кровавых схватках сдерживали его как могли. И все же он подбирался уже к Москве.

Все от мала до велика гадали, сдадут наши Москву или не сдадут. Вспоминали войну 1812 года, Кутузова... Нет, слишком уж разные эпохи и войны разные. Отдать сейчас Москву – все равно что отдать Россию, весь Советский Союз. А это немыслимо. За Москву будут драться до последнего, фашистам в нашей столице не бывать.

Именно в эти дни я и получил от Леонида первое письмо. “Интересуешься, где я и что со мной? – писал мой друг. – Посмотри на карту. Где идут самые жестокие бои? Где сражаются сибиряки? Вот там и я...” Далее несколько строк в письме было залито чернилами цензора, но я все равно догадался, что мой друг обороняет Москву.

Теперь письма от Леонида стали приходиться чаще. По-прежнему короткие, писанные явно второпях, они, тем не менее, были содержательны и, как всегда, искренни. Так, в письме, присланном из медсанбата, куда Леонид попал в январе сорок второго, он писал: “Задело осколком руку. Кость, к счастью, не повредило, наложили повязку, некую “бандуру”, вот и лежу с ней километрах в двадцати от передовой. По моему почерку ты, конечно, догадался, что ранило меня отнюдь не в правую руку. И на том спасибо... Как там моя благоверная? Шлю, шлю ей фронтные треугольнички, а от нее пока ни звука. Увидишь, попеняй ей”.

О жене своей, Клавдии, он вспоминал почти в каждом письме. Вспоминал тепло. Но однажды вдруг вспылал.

“Дошли до меня слухи, что разлюбленная моя, что называется, скурвилась, якшается с разными мужиками, водит их к себе в дом. Словом, окончательно стыд потеряла. Поначалу это меня обескуражило, я сон и аппетит потерял. А потом подумал: “Чего это я бешусь? Якшается, и слава Богу. Я уже сто раз покаялся, что женился. Она же обманула меня, сказала, что беременна. А потом, когда уже зарегистрировались, призналась, что пошутила. Пусть шляется с кем хочет; вернусь, разорву этот ненавистный брак”.

Первая военная зима казалась бесконечной. Непролазные снега, трескучие морозы... Между прочим, именно они, как писали газеты, во многом и помогли нам разделаться с фашистами под Москвой. Мерзли немцы-то с непривычки. Журнал “Крокодил”, помню, поместил карикатуру “Фриц в аду”. Сидит заиндевелый, с ледяной сосулькой под носом немецкий солдат на сковородке, а молодой черт подкладывает да подкладывает под эту сковороду дрова. “Ну как, поджаривается?” – спрашивает его старый черт. “Куда там! – отвечает молодой. – Никак отогреться, бедняга, не может”.

Прошла в трудах и заботах весна; в начале лета мы сдали за девятый класс экзамены, а недели две спустя меня, как и других моих сверстников, вызвали на призывной пункт. Врачи наскоро осмотрели нас, послушали, постукали пальцами меж ребер и велели одеваться.

Ровно через сутки мы уже стояли на развилке дорог возле МТС, ждали полторку, чтобы отправиться на ней в город Ленинск-Кузнецкий, а оттуда, по железной дороге – в запасной полк.

Саша Коромыслов пришел меня провожать. День был жаркий, в небе – ни облачка; над большаком, по которому нам ехать, висела розоватая от солнца пыль. Саша стоял весь мокрый от пота, слипшиеся каштановые волосы падали ему на глаза, отчего он постоянно встряхивал головой.

– Черт знает, что там у них в военкомате, – ворчал он. – Всем прислали повестки, а мне – фигу.

Лицо у него было раздосадованное, я хорошо понимал его и как мог утешал.

– Не печалься, пришлют и тебе: не всем же в один день, – Саша грустно улыбался, кивал, но я видел, что слова мои плохо до него доходят.

В самый последний момент, когда мои попутчики уже карабкались на борта только что подоспевшей машины, Саша крепко обнял меня, поцеловал и... расплакался, чего я никак от него не ожидал.

В запасном полку в Бердске нас держали недолго. Погоняли строем по утрамбованному, как колхозный ток, плацу, вывели в поле и заставили целый день рыть в спекшейся, окаменевшей земле траншею, приговаривая утешительно: “Ничего, ничего, ребятки. Тяжело в учении, легко в бою”. Сводили раза два на стрельбище и в один прекрасный день строем, с полной выкладкой, повели на ближайший полустанок. А там – команда “По вагонам!” и... вперед на запад.

Попал я на Центральный фронт.

Всю дорогу, пока ехали, и тут, в прифронтовом лесу, где формировалась наша дивизия, мою стрелковую роту спешно переучивали в роту противотанковых ружей. Мы постигали устройство этих длинноствольных фузей, как называл их мой напарник, недоучившийся студент исторического факультета, немного постреляли, метаясь в обгоревший немецкий танк, оставшийся тут после недавних боев. Убедились, что бронебойные патроны “берут” хваленую крупновскую сталь; правда, плечо после двух-трех выстрелов немеет потом на целый день.

Через малое время нас кинули в бой.

Не знаю, где в это время находился мой друг Леонид. Я послал ему письмо, а ответ получил лишь через полтора месяца (так работала почта). Леонид успел за это время еще разок побывать в полевом госпитале и вернулся в часть. Но что-то, видать, не заладилось в его окопной жизни: письмо было полно намеков и недомолвок. А заканчивалось и вовсе странно: “Уезжаю на фронт... Если писем не будет, считай, что меня...”

Я не придавал этому значения. В ответном письме ни словом не обмолвился о мрачных предчувствиях моего друга. Рассказал о своем первом бое, после которого нас в роте осталось ровно двенадцать человек, о том, что пишут из дому, пожелал Леониду удачи и стал ждать от него нового письма, ни на минуту не сомневаясь, что оно придет. С фронта или еще откуда-нибудь, но придет обязательно. А это романтическое “если писем не будет...” пусть останется на его совести.

Саше Коромыслову я написал сразу, как только прибыл в Бердск. То есть месяца два тому назад. Ответа до сих пор почему-то не было. Не было писем и от Леонида. Что ж, я уже научился ждать. А война все шла. В самом разгаре была Сталинградская битва. И хоть закончилась она нашей победой, до конца войны оставалось еще более двух лет.

Новый год, как и другие праздники, мы встретили в окопах. Выпили “свои боевые сто грамм”, закусили “наркомовским пайком” и тут же услышали команду: “К бою!” Немец шел в очередную атаку, пустив впереди, как положено, танки...

Прошло еще месяца два, ни от Леонида, ни от Саши писем не было. Я начал тревожиться. Ну, пусть уж Леонид, он на фронте, где всякое может случиться. Но Саша, Саша! Почему он-то молчит? Ведь я пишу ему почти каждую неделю... Впрочем, может, и он уже на фронте. Проводил меня, пошел в военкомат и настоял, чтоб его тоже мобилизовали.

Подождав еще какое-то время, я написал Лениным родителям. Ответила младшая сестренка моего друга, Тоня: “Спрашиваешь про Леонида? А он пропал без вести. Еще в марте. Мы не верим, что его нет в живых, и ждем от него письма”.

Я тоже не поверил и тоже продолжал ждать.

Написал я и Сашиным родителям, но ответа, увы, не получил. А моя мать ответила: “Саши в Купавине нет, а вот где он – на фронте или еще где-нибудь, – никто пока не знает”. “Еще где-нибудь...” – обиделся я на мать. Где ж ему быть, кроме как на фронте. И вполне возможно, что, едва прибыв сюда, он погиб в первом же бою. Сашка, он такой, с ним всё может стать.

А если и жив, то, быть может, воюет там, откуда писем не пишут. Может, у него особое задание.

В сорок четвертом, летом, меня тяжело ранило на Сандомирском плацдарме в Польше.

Ох, этот плацдарм! Безымянный остров на реке Висле. Мы на пятачке в два квадратных километра. На этом же пятачке и немцы. Только у них там – лес, а у нас – голое, выжженное солнцем пространство.

В окопчике, вырытом в песке, меня и ранило. Прилетела в разгар боя немецкая мина, к счастью, малого калибра, разворотила стенку окопа, а заодно и мое левое плечо.

Лечиться пришлось на Урале. Есть в Свердловской области городок Сысерть; вот там, в одной из школ, закрытых по случаю войны, и расположился эвакогоспиталь. Кабинет директора занял начальник госпиталя, в бывшей учительской обосновались хирурги. Они-то, великое им спасибо, и спасли мне руку, которой грозила ампутация до самого плеча.

Больше на фронт я не попал: рука долгое время бездействовала. Когда же я смог наконец взять ею ломоть хлеба, война была уже позади.

В родное Купавино я вернулся в самом конце мая победного сорок пятого. Дотаивал по низинам серый, как второсортная соль, снег, моросили дожди, на широкой поляне за селом, где мы когда-то ратоборствовали со своими деревянными мечами, пробивалась сквозь прошлогодний бурьян молодая щетинистая травка.

Пока лежал в госпитале, я почти все свободное от процедур время писал письма. И родителям, и друзьям – как старым, так и новым, фронтовым.

Ответы приходили отовсюду, по-прежнему молчали лишь два самых близких моих друга – Саша и Леонид.

Что касается Леонида, то сомнений почти уже не оставалось: скорбное предчувствие дорогого друга, похоже, сбылось...

А вот Саша загадал-таки загадку, которую долго не удавалось разгадать. В Купавине его по-прежнему не было. “Уехал к больной тетке в Барнаул, – сказали мне его родители. – Когда вернется, не знаем”.

Вернулся Саша осенью того же сорок пятого; я мигом кинулся к нему.

И вот мы сидим с ним на памятных, залежавшихся с начала войны бревнах. День ясный, солнечный, но не жаркий. Бабье лето. Сашка ликует.

– Как здорово, что ты жив! Вот вернется Леонид, и вся наша троица опять будет вместе.

– Ты надеешься, что он все-таки вернется?

– Почти не сомневаюсь в этом! Леонид, я думаю, в плену. Вот начнется обмен военнопленными, и он придет.

Я, между прочим, тоже не терял надежды. Пропал без вести – вовсе не значит, что погиб. За годы войны многие пропадали, а потом все же находились, возвращались.

– Вернется Леонид! – твердил Саша.

Я не спорил. Сейчас меня больше занимал другой вопрос: почему Саша, наш нетерпеливый и доблестный друг, не попал на фронт? Так мечтал, так рвался и вдруг – тыловой Барнаул... Саша охотно это объяснил.

– Понимаешь? Эскулапы... – сделал брезгливое лицо, произнес он с нажимом. – Придрались к сердцу. Порок или что там нашли. И – ни в какую! Я – к военкому. По столу стучу, грудью на него лезу, а он как вкопанный: “Не могу, не могу, и всё. Даже в нестроевики не могу тебя зачислить”. Вот так. Стремился всей душой, а вышел пшик. Окаянный моторчик: никогда не думал, что он так меня подведет.

Что ж, сердце есть сердце, по себе это знаю. Однажды, совершая по жаре марш-бросок, я вдруг потерял сознание, напугал отделенного командира. Санинструктор, помогший мне прийти в себя, пощупал пульс, приподнял веко и сказал коротко: сердце!

Более подробный диагноз я узнал, когда выписывался в сорок пятом из госпиталя. Врач повертел меня, послушал, заставил несколько раз присесть и снова приложился трубочкой к моей груди.

“М-да-а, – произнес он вразяжку, – митральный клапан малость того... Как же вас в армию-то взяли?”

А вот так и взяли. Никаких пороков не нашли. Или нашли, да промолчали. И слава Богу! А то зачислили бы в нестроевики, на всю жизнь огорчение.

С тех пор прошло более шести десятков лет. Целая вечность! Никогда не думал, что судьба отпустит мне столь долгий срок. Спасибо ей за это!

А Леонида я так и не дождался. Не пришел он ни через год, ни через двадцать лет. Потерялся, исчез навсегда.

Потерял я и второго друга.

Нет, Саша жив. И даже на здоровье особенно не жалуется. Но однажды, напившись по обыкновению до скотства, он признался, что его и не пытались призывать в армию. Не был он ни на медкомиссии, ни у военкома. Сестра его Сима, работавшая в загсе, заменила ему документы, уменьшив возраст на целых четыре года. С этими-то документами он и уехал в соседнюю область, где никто, кроме родной тетки, его не знал...

Рассказав обо всем этом, Саша тут же спохватился:

– Только никому! Слышишь? Тебе одному, как другу... Больше никто не должен знать!

Я молчу.

Что толку, если еще кто-нибудь узнает его тайну? К суду труса и дезертира не привлечешь: сроки ушли. Да он и сам себя уже наказал. Наказал жестоко. От спившегося дебошира сбежала без оглядки жена, увела с собою и их единственную дочь. Живет Александр в отцовской избе, но... жизнью бомжа. Изба похожа на сарай.

Итак, нас было когда-то трое. Трое неразлучных друзей, мечтавших сохранить нашу дружбу до глубокой старости.

Теперь я один.

Двоих... да, двоих забрала война.